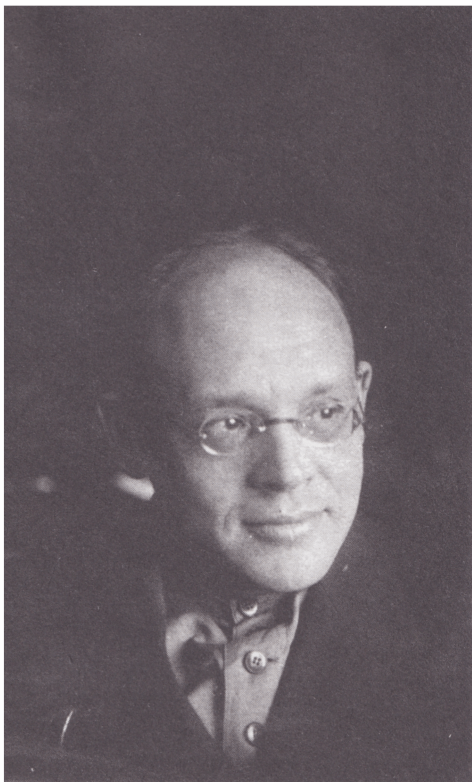


БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК



*Исаак Бабель*

**Избранные  
рассказы**

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ТЕРРА»  
КНИЖНЫЙ КЛУБ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

*Издается с 1925 года*

---

ИСААК БАБЕЛЬ

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»  
Москва — 2008

*Редакция журнала «Огонек» выражает искреннюю благодарность Антонине Николаевне Пирожковой и Лидии Исааковне Бабель за помощь в подготовке переиздания книги.*

## **ОБ АВТОРЕ**

Бабель Исаак Эммануилович (1894—1940) — писатель. Родился в Одессе 1 (13) июля 1894 года в зажиточной и образованной еврейской семье. Учился в Одесском коммерческом училище имени Николая I, потом в Коммерческом институте.

В 1915 году Бабель переехал в Петроград с твердым намерением жить писательским трудом. В 1916 году опубликовал в журнале М.Горького «Летопись» два рассказа.

По совету М. Горького «ушел в люди», оставил литературу и с 1917-го по 1924 год переменил множество занятий: был сотрудником Наркомпроса, типографским служащим, репортером, участником продовольственных экспедиций.

В 1920 году добровольно вступил в Красную Армию, став бойцом 1-й Конной армии.

В 1923-м опубликовал в журнале «Леф» рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король», сразу принесшие ему известность. Эти и другие произведения составили два основных цикла - «Конармия» и «Одесские рассказы».

Автор пьес «Закат», «Мария», нескольких киносценариев.

16 мая 1939 года Исаака Бабеля арестовали. Писателя расстреляли как агента французской и австрийской разведок в начале 1940 года.

В 1954 году Исаак Бабель посмертно реабилитирован.

*Печатается по изданию 1936 года.*

## СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

*(Из книги «Конармия»)*

Завесы боя придвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши порваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряжку... Дважды два... Есть думка за начдива, смещают... Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнышке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына, — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку, — вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — опросил Тимошка, вынимая древко из стрелян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал.

— Там видать будет, — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: — Девки, сидай на конников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченко:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат... Видать, вроде того, что останемся мы...

— Отобьетесь... — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, — сказал раненый ему вслед.

— Не канючь, — обернулся Вытягайченко, — небось, не оставлю, — и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биди, моего друга:

— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас кони заморенные... Хапать нечего — поспеешь к Богородице груши окалачивать...

— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз. Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.

Гришук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский развезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Гри-

щук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство, — ответил он печально.

— Пропадаем, — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудятся, — ответил он еще печальнее, — затем сватанья, венчання, затем кумы на свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне, — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге, — смеха мне, зачем бабы трудятся...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — кончусь... Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву, сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет, — ответил я и дал коню шпору. Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво...

— Бежишь? — пробормотал он, оползая. — Беги, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал. Они говорили коротко — я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог...

— Уйди, — ответил он бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

— Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — закричал сзади Грищук, — не дури! — и охватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь, — крикнул Афонька, — он от моей руки не уйдет...

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста...

*Броды, август 1920 г.*



## В ПОДВАЛЕ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало биллиардной игры в кофейнях на Греческой улице, плавание на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Бортмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание — то, что он рассказывал. В словах Бортмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем воображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не соглашался. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Бортман подошел ко мне, взяв меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло не-

много времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмысленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевернуть все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила заваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня, как могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищед и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обве-

дены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester Guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы, с надушенным бельем и большими баками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщины. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду, в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначают представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье

ные. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один.

В субботу настало время проснуться. Завтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире.

Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крика и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной... Она считала это знакомство началом карьеры и сделала для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолил его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас в роду были пьяницы, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не доведши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это не скоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и

силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тисненными цветами, косынку, которую надевают в синагогу на Судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, кренделя и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатуму полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Иццока. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы».

В ней описывались все соседи Лейви-Иццока за семьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварахи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви-Иццока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми жадами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», — протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепили бочонок с ваксой, будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем, — Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О, римляне, сограждане, друзья,  
Меня своим вниманьем удостоите.  
Не восхвалять я Цезаря пришел,  
Но лишь ему последний долг отдать...

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом;  
Но Брут его зовет властолюбивым,  
А Брут — достопочтенный человек...  
Он пленных приводил толпами в Рим,  
Их выкупом казну обогащая.  
Не это ли считать за властолюбье?..  
При виде нищеты он слезы лил,  
Так мягко властолюбье не бывает.  
Но Брут зовет его властолюбивым,  
А Брут — достопочтенный человек!..  
Вы видели, во время Луперкалий  
Я трижды подносил ему венец,  
И трижды от него он отказался.  
Ужель и это властолюбье?..  
Но Брут его зовет властолюбивым,  
А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку — глаза Боргмана покорно двинулись за ней, — сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел дядьку Симон-

Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель...

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки и затоплявшего нас ненужной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной  
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,  
И всякий нищий им пренебрегает.  
Когда б хотел я возбудить к восстанию,  
К отмщению сердца и души ваши,  
Я повредил бы Кассию и Бруту,  
Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление.

Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом кричал мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запахнуть собачьи ваши рты...

Работа душу у меня отбила... У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклинай меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем попевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащут в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и совершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно.

Коль слезы есть у вас, обильным током  
Они теперь из ваших глаз польются.  
Всем этот плащ знаком. Я помню даже,  
Где в первый раз его накинул Цезарь:  
То было летним вечером, в палатке,  
Где находился он, разбив неврийцев.  
Сюда проник нож Кассия; вот рана  
Завистливого Каски; здесь в него  
Вонзил кинжал его любимец Брут.  
Как хлынула потоком алым кровь,  
Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не было в силах заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был вогну-



тый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего, — пробормотал он, вырываясь на волю, — это, право, ничего...

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых по моей милости провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатах рубахе.

Сквозь щели досок острями света мерцали булыжники. В углу стояла кадка с водой. Я опустил в нее. Вода разрешила меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху с полки сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза, увидел на дне бочки парус рубахи, ноги, прижатые друг к дружке, и вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Внук мой, — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принести на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустил в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок, — сказала Бобка, — и где дитя находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф.

Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

## ГЮИ ДЕ-МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил в Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполнила его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождающая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушил его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои речи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На Рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переведившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловие. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи. В их разверстых пастьях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха — доисторические камни и чудища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе,

на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана — свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дуркой в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки: атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало,

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашенные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода и старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше?..— качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распутившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о близости его к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуж-

дали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик, — и она протянула мне руки, униженные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, брэнчала перстнями и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На напудренной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивая голые руки, — мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает.

Я никогда не имел дела с мускатом восемьдесят третьего года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France. Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, оправлялся у рыжей Селесты: «Когда же мы позабудемся, ma belle?» — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснял: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...»

— Я не люблю таких шуток, мсье Полит, — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабудемся, ma belle, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Se diable de Polite... За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению:

«А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит»...

Раиса с хохотом упала на стол.

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружи-

ло рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Monsieur, за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle...

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плече у нее зажглись пятна. Изю всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли оплетения, вырезанные из дерева, с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската восьмьдесят третьего года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетались, они стали боком... И белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле той книги было посвящение герцогу де-Броглио. Я лег неслышно, чтобы



не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де-Мениаль «О жизни и творчестве Гюи де-Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де-Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры Ле Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюбимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрерывно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках и поедал свои испражнения. Последняя надпись в его скорбном листе гласит: *Monsieur de Mopassant va s'animaliser* (господин Мопассан превратился в животное). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

## НЕФТЬ

...Новостей много, как всегда... Шабсовичу дали премию за крейтинг, ходит весь в «заграничном», начальство получило повышение... Узнав о назначении, все прозрели: парень вырос... По сему случаю встречаться с ним я перестала. «Выросши», парень почувствовал, что знает истину, которая от нас, обыкновенных смертных, скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность («ортобокс», как говорит Харченко), что никуда не денешься... Увиделись мы два дня тому назад, он спросил, почему не поздравляю. Я ответила: — Кого поздравлять — его или советскую власть? ...Он понял, вильнул, сказал: «Звоните»... Об этом немедленно пронюхала супруга. Вчера — звонок: «Клавдюшка, мы теперь прикреплены к ГОРТу, если тебе нужно что из белья...» Я ответила, что надеюсь дожить до мировой революции со своей собственной книжкой...

Теперь о себе. Да будет тебе известно — я управделами Нефте-синдиката. Намечалось давно, я отказывалась. Мои доводы — неспособность к канцелярской работе и затем желание поступить в Пром-академию. Вопрос четыре раза стоял на бюро, пришлось согласиться, теперь не раскаиваюсь... Отсюда ясна картина предприятия, кое-что удалось сделать, организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила разведку, много занимаюсь Нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро родит, перипетий было много... О беременности Зинаиды сказала своему Максиму Александровичу (я зову его Макс и Мориц) поздно, пошел четвертый месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаидином лбу ледя-

ной поцелуй и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие, мысли его далеки от действительной жизни, нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жизни, чем он, Макс Александрович Шоломович, но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее, и прочее, и прочее... Зинаида, будучи женщиной девятнадцатого столетия, заплакала, но характер выдержала... Ночью она не спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет, непричесанная, страшная, в старой юбке, помчалась в Гипромез, наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребенка она уничтожит, но никогда этого людям не простит... Все это происходит в коридоре Гипромеза, в толкучке. Макс и Мориц краснеет и бледнеет, бормочет:

— Надо созвониться, встретиться...

Зинаида не дослушала, полетела ко мне и объявила:

— Завтра на работу не выйду!

Меня взорвало, сдерживаться не сочла нужным и левиты прочитала ей по-настоящему... Подумать только — девке четвертый десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается, подвернулся этот Макс и Мориц (и то не на нее, а на чужую расу, на предков-аристократов позарился), запала от него штучку, держи, расти... — да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить?.. На все один ответ: «Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца», то есть девятнадцатое столетие продолжается, папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет (или без иконы — не знаю, как там проклинали), девки стащут младенца в воспитательный дом и прочее, и прочее...

— Вздор, Зинаида, — говорю я ей, — другие времена, другие песни, обойдемся без Макса и Морица...

Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро встал вопрос о Викторе Андреевиче. Ты знаешь решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя,

потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано президиуму ВСНХ. Содержание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее — с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так: подобно всем смертным я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее, и прочее. Прочитала. Он спрашивает:

— Посылать или нет?

Я говорю:

— Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня неприемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды...

Письмо он отослал. ВСНХ — на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили карту Союза с новыми месторождениями нефти, с трубчатками, нефте- и продуктопроводами. Как сказал Багриновский:

— Страна с новым кровообращением...

На собрании молодые инженеры из типа «всеядных» требовали поставить Виктора Андреевича на колени. Я выступила, говорила сорок пять минут. «Не сомневаясь в знаниях и доброй воле профессора Клоссовского и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифр, в плену которых он находится» — вот мысль, которую я защищала.

— Отвергнем таблицу умножения как правило государственной мудрости... На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку по части добычи в два с половиной года?.. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы с 1931 года увеличим экспорт в девять раз и выйдем на второе место после Соединенных Штатов?

После меня выступил Мурадьян с критикой направления нефтепровода Каспий — Москва. Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступил старческий румянец, румянец венозной крови... Мне было жалко, я не дослушала, ушла к себе. Зинаида все сидит в кабинете, сцепив руки.

— Будешь рожать, — спрашиваю, — или нет?

Она смотрит и не видит, голова пошатывается, говорит, и в словах нет звука.

— Нас двое, Клавдюша, — говорит она мне, — я и мое горе, точно горб приклеили... И как скоро все забывается, вот уж я не помню, как живут люди без несчастья...

Говорит она это, нос вытянулся еще больше, покраснел, мужицкие скулы (у дворян бывают такие скулы) выперли... Макс и Морриц, думаю, не больно бы воспламенился, увидев тебя такую... Я раскричалась, прогнала ее на кухню картошку чистить... Не смейся, приедешь — и тебя заставим. На проектировку Орского завода дали такие сроки, что конструкторская и чертежники сидят день и ночь, на обед Васена начистит им картошки с селедкой, изжарит яичницу, — и снова трубят... Ушла она на кухню. Через минуту слышу крик. Прибегаю — Зинаида моя на полу, пульса нет, глаза закатились... Измучились мы с ней нельзя сказать как: Виктор Андреевич, Васена и я. Вызвали доктора. Сознание вернулось к ней ночью, она потрогала мою руку, — ты знаешь Зину, необыкновенную ее нежность. Я вижу: все перегорело в ней за эти часы, и все родилось вновь... Времени упускать было нельзя.

— Зинуша, — говорю ей, — мы позвоним Розе Михайловне (она у нас по-прежнему по этим делам придворная), что ты раздумала, что ты не приедешь... Можно мне звонить?

Она сделала знак, что можно, иди. На диване возле нее сидел Виктор Андреевич, все пульс щупал. Я отошла, слушаю — он говорит:

— Мне 65 лет, Зинуша... Тень от меня на землю ложится все слабее. Я ученый, старый человек, и вот Бог (все — Бог!) так сделал, что последние пять лет моей жизни совпадают с этой — ну, вы зна-

ете с чем — с пятилеткой... Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе... И если бы по вечерам не приходила моя дочь и не хлопала меня по плечу, если бы сыновья не писали мне писем, я был бы так грустен, что и сказать нельзя... Родите, Зинуша, мы с Клавдией Павловной возьмем шефство...

Старик бормочет, я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна, Мурашова обещалась прийти завтра, так вот она раздумала... В телефон молодцеватый голос:

— Блестяще, что раздумала, совершенно чудно.

Придворная наша — все та же: розовая шелковая кофточка, английский юбка, завита, душ, гимнастика, хахали...

Перевезли Зинаиду домой, я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе, — тут и поплакали, вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули... Мой «черт» сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. Ты бы, Даша, «черта» не узнала — он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером — переводы.

— Зинаида родит, — я ему говорю. — Как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет.) Решили — Иваном, — Юрии и Леониды надоели... Будет он парень, наверное, сволочеватый, с острыми зубами, зубов на шестьдесят, человек. Горючего мы ему наготовили, будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум — не то, что нас на Воробьевы горы... До свиданья, Даша. «Черт» напишет отдельно. Как твои дела?

*Клавдия.*

P. S. Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем новых четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня: рожа

широкая, красная, бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались.

— Вот она, когда сражения пошла, — он мне говорит. — Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война...

Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой...

## СОДЕРЖАНИЕ

Смерть Долгушова .....	3
В подвале .....	7
Гюи де-Мопассан .....	16
Нефть .....	24



**Исаак Бабель**

Избранные рассказы

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*

Редактор *К. Мкртчян*

Художественный редактор *О. Скочко*

Корректоры *Н. Голубцова, О. Крендясова,*

*Е. Пищулина, И. Яковенко*

Компьютерная верстка *Е. Яковенко*

Подписано в печать 24.12.07 г.

Формат 70x108 1/32. Бумага газетная.

Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.

Тираж 57 000 экз. Заказ № 0805320.

ТЕРРА—Книжный клуб.

127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного электронного оригинал-макета  
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97





## Народная библиотека «Огонька»

С 1 февраля в каждом отделении Почты  
открыта подписка на следующие издания:

<b>Универсальный словарь:</b> В 4 томах	1390 р.	<b>Мериме П.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1250 р.
<b>Большая Энциклопедия «Терра»:</b> В 62 томах	74400 р.	<b>Монтень М.</b> Опыты: В 3 книгах	890 р.
<b>Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона:</b> В 86 полутомах	68000 р.	<b>Моруа А.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	2580 р.
<b>Детская энциклопедия:</b> В 10 томах	4620 р.	<b>О. Генри.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	995 р.
<b>Энциклопедия «Великий час океанов»:</b> В 5 томах	2250 р.	<b>Островский А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1014 р.
<b>Авенариус В.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	990 р.	<b>Песков В.</b> Сочинения: В 9 томах	2520 р.
<b>Алданов М.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1232 р.	<b>Похлебкин В.</b> Сочинения: В 6 томах	1450 р.
<b>Андерсен Х.-К.</b> Собрание сочинений: В 4 томах	1520 р.	<b>Ремарк Э. М.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1592 р.
<b>Блок А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1280 р.	<b>Родари Дж.</b> Собрание сочинений: В 4 томах	1220 р.
<b>Бунин И.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	1830 р.	<b>Сабанеев А.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1456 р.
<b>Гиббон Э.</b> Закат и падение Римской империи: В 7 томах	1386 р.	<b>Сабатини Р.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	1820 р.
<b>Горький М.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	936 р.	<b>Софья де Сегюр.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1275 р.
<b>Гранин Д.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1075 р.	<b>Сименон Ж.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	1990 р.
<b>Грин А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1242 р.	<b>Соловьев Вс.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	2080 р.
<b>Долгополов И.</b> Мастера и шедевры: В 6 томах	1500 р.	<b>Уэдсли О.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1308 р.
<b>Карамзин Н.</b> Полное собрание сочинений: В 18 томах	3060 р.	<b>Флеминг Я.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1540 р.
<b>Колетт С.-Г.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1274 р.	<b>Фолкнер У.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1194 р.
<b>Купер Ф.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	1845 р.	<b>Хаггард Г. Р.</b> Собрание сочинений: В 12 томах	2880 р.
<b>Лесков Н.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1015 р.	<b>Чуковский К.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1025 р.
		<b>Ян В.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1310 р.